

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО



New York
Public Library
5th Ave. & 42 St.
New York 18 N.Y.

вре
ние
(твор
на в
Авенк
Карабе
В 190
случай
рижском
ревяины
формы,
выско
ства. С
несе
из
в

ПРЕДСТОИТ ЗАБАСТОВКА МЕТАЛЛИСТОВ

Вашингтон, 15 марта. — Федеральным арбитрам не удалось получить от председателя юниона металлистов Моррэй согласия отсрочить забастовку, намеченную в четвертый раз на воскресенье 23 марта.

Юнион требует прибавку в 18,5 центов в час. Компании согласны дать прибавку, если им разрешат повысить цены на сталь. Арбитры продолжают переговоры. Остановка плавильных печей начнется с четверга 20 марта.

ПОТЕРИ КРАСНЫХ В КОРЕЕ

Вашингтон, 15 марта. — Военное министерство сообщает, что за две последние недели потери красных в Корее увеличились на 16.849 — убитыми, ранеными и пленными.

С начала военных операций — 25 июня 1950 года — потери эти достигли 1.652.000 человек, из которых пленных — 170.000.

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO, 243 West 56th Street, New York 19, N. Y.

ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

(Отрывки впечатлений и разговоров)

1. Вспоминается юбилей Пушкина. Какая благоговейная, восторженная радость была разлита по всему русскому миру.

Конечно, наши пушкинисты усердно писали именно о том, о чем Пушкину не хотелось бы слышать. Именно о том, что он пошел на дуэль и заплатил жизнью. Француз любезно спрашивали: «Votre Fouchin? Le roi des coeus?»

Но всетаки мы, русские любители Пушкина и умели любить его свято.

Все в Пушкине ясно, все чисто и все благоговейно. Гоголь — загадка. А загадку каждому дозволено разгадывать в меру его разума и душевных сил.

2. Мы только что прочитали прекрасные, толковые и очень умные статьи о нем, в которых часто цитировались Розанов, определивший Гоголя как гениального писателя, но глупого человека. Такого же мнения о нем и Лев Толстой. Кстати Розанов заодно подвел под ту же рубрику и Льва Толстого — гениален, но неумен. Я думаю, что сапожник, учивший Толстого точить сапоги, пожалуй подписался бы под этим мнением. «Анна Каренина» — одно, а вот выстрочить рант крепкой драмой, на это нужно иметь другую голову.

Кака бы ни был безграничен человеческий гений, все области охватить он не может. Гениальные писатели могут проповедовать и убеждать, только при помощи героев своих произведений, поскольку эти герои художественно доказывают подлинно и истинно идеи автора. Без этой художественной плоти, орудия писателя — идея его безформенна и мертва.

Заставляя Шекспира написать трагедию о том, как должна вести себя губернаторша. Она провалилась, как провалилась и Гоголь.

3. Моя мать рассказывала, что бывала в Москве у своей крестной матери старенькой кн. Репиной. Старушка была очень религиозна, принимала у себя афонских монахов. И вот у нее бывал Гоголь. Приходила в красном бархатном жилете и читала старушке «Евангелие».

— Что же он хорошо читал? — Нет, не хорошо. Как то сердито. И поднимал вверх указательный палец. Строго читал, будто не слово Божие, а какое то собственное изъяснение.

Впоследствии, когда я читала его «Перепишку», мне все представлялось красным жилетом и укоризненно поднятым пальцем.

4. Все как будто согласны с тем, что Гоголь гениален, но не умеет. Все, кроме Тургенева, который сказал: «Какое умное и большое существо».

В нем чувствуется всеми что то меланхолическое, уродство какое то. Но это уродство и есть то, что отличает его от других, это и есть его «неладный» талант. Жемчужина — болезнь раковины, это уродство. Но только это уродство и драгоценно.

5. К Гоголю современники его относились с исключительным вниманием.

Как высоко ставил его Достоевский и как глубоко засел Гоголь в его подсознательном. Макарь Левушкин, жалкий равнинский чиновничек из «Бедных людей», не родной ли брат Акакия Акакиевича. И не знаю — обратил ли кто нибудь внимание на то, что мать Раскольникова назвал Достоевский Пульхерией и переименовал она с купцом Афанасием Ивановичем. Оба имени эти, несомненно заурядные, как оба вместе Достоевский сознательно не сочетал бы. Они жили в его подсознательном. Так прокинул Достоевский Гоголем, так впитал его в себя. Но как человека он Гоголя вывести не мог, до такой степени, что выплюнул его из души своей в лице Фомы Опискина. Достоевский был тоже больной человек и носил в себе тайно этот противный ему образ его бы замучило. Он конкретизировал это свое отвращение, дал ему художественную плоть и, успокоившись, отнялся от него.

6. Гоголь человек больной. Так говорят все. Но когда он писал любимое свое детище «Тараса Бульбу» он болен не был. И «Вечера на хуторе» и «Миргород» писал человек здоровый. Писал с любовью, не требовал от них, чтобы они непременно учили своим примером грязные в разврате общество.

Как радостно и любовно описывал он раскинувшегося на земле пьяного запорожца: «Фу ты, какая важная фигура! закинутый гордо чуб его захватывал пол-аршина земли, шаровары алого дорогого сукна были запачканы детем для показания полного к ним презрения».

И как рассказывал о призыве казачества на битву: «Вы плугари, греческие, овчепасы, баболобы! Пора доставать казачью славу!» И пахарь додал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кадки и разбивали бочки, ремесленник и торгаш ласкал чорту и ремесло и лаука, был горшки в доме — и все что ни было, садилось на коня. Словом русский характер получал здесь могучий, широкий размах, крепкую наружность».

7. Как странно в конце первого тома «Мертвых душ» ядром мелькает тема «Ревизора».

«Воля ваша, господа, а дело надо как нибудь кончить: придет генерал-губернатор, увидит, что у нас просто чорт знает что».

«Как же вы думаете поступить?»

Полициймейстер: «Я думаю задержать Чичикова как подозреваемого человека».

«А если он нас задержит, как подозреваемых людей?»

«Как так?»

«Ну, а если он посылает? Ну что если он с тайными поручениями. Мертвые Души? Гм! Будто купить, а может быть это — розыскание обо всех тех умерших, о которых было помянуто — от неизвестных слушателей?»

Эти слова потрясли всех в молчание. Прокурора эти слова поразили. Председатель тоже, сказавши их, задумался...

8. Из разговоров.

— Гоголь некрофил.

— Откуда вы это взяли?

— Очень хорошо описывает мертвую паночку-ведьму.

— Так ведь он описывает ее как живую. Она розовая, белая, как все гоголевские красавицы. Если бы здесь шло дело о некрофилии, то Хому Брута потянуло бы именно к страшной зеленой покойнице.

А он от этой ведьмы весь трясется самым простым мужиком страхом перед трупом. Нигде здесь некрофилия не видно.

— Но все таки он очень нежно описывает уюпленичку.

— Она у него тоже живая. Только бледная. При чем тут некрофилия?

Любовной жизни у Гоголя не было. Поэтому ищет ее яа как-то в черных путях. Не находят, а все таки хочется верить хоть собственной выдумке. Уж очень было бы интересно.

О женитвах Гоголь рассказывать не умеет. Рассказывает о карикатурных дамах, а красавица у него все на одно лицо. Все белоснежные, розовые, у всех ресницы стрелами, какные то сненоподобные руки, обильные персы. У прекрасной полочки, прелестнейшей Анны, сына Бульбы, «грудь, подобная речному лебеду, снежная кожа, блистающие пальцы».

«Она сидела, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу».

Уж право Янкель не хуже изобразил перед Тарасом эту красавицу: «Он постарался, как мог, выразить на лице своем красоту, расставил руки, прищурил глаз и покривил рот, как будто что нибудь отведать ш».

Изобразил в общем почти так же понятно, как Гоголь своими словесными красотоми.

Об Ульичке, положительном типе русской леушки, даже говорить не ловко. Она «предрезанная». Одета не по человечески и шепчет что то мало-разумительное но очень морально. Бог с ней. Нельзя Гоголю ставить всякое лыко в строку. Оставим это лыко.

О женитвах Гоголь пишет так, как будто никогда ни одной не видел, а знает только по наслышке. «Дам, приятных

во всех отношениях» знал хорошо, а для красавиц словарь превращается перси ланиты, уста, куары.

Их не видишь, как сам он их не видел. Ну, да это и не важно. Можем поверить на слово, что они хороши.

9. Собакевич и Чичиков — моралисты. Бичуют иррациональными словами, точно уже прочли его перепишку.

Гоголь пишет Языкову: «Опорозрь в гневном дидирамбе новейшего лихонима нынешних времен и его проклятую роскошь и скверную жену его, погубившую шеголяниями и тряпками и себя и мужа и презренный порог их рогатого дома...» «Возвеличь бедняка и благородную жену его, которая лучше захотела носить старомодный чепец и стать предметом насмешек, нежели допустить своего мужа сделать несправедливость и поддаться».

Кончается письмо к поэту словами: «Много, много предместов в ддя лирического (1) поэта. в книге не вместишь, не только в письме».

«В службе своей как следуют не упражняетесь, чтобы отечеству как нибудь послужить и на пользу ближнему храня товарищей, о том не думаете, а вот только чтобы быть подалее других. Куда дураки подтолкнут, туда и плететесь. Так себе ни за что и пропадете, и доброго следа после вас не останется».

И когда супруга Собакевича хотела еще остаться в городе, и нужно купить для праздника какие то ленты на чепчики? Собакевич сказал ей: «Это, душа моя, все модные выдумки. Они тебе до добра не доведут».

Еще красноречивее и еще ближе к Гоголю морализирует Чичиков после бала, на котором оконфузал его Ноздрев.

«Ну чему слуху образованная. В губернии неурожай, дороговизна, так вот они за балы. Эка штука: разрядились в бабы тряпки! Невидала что ния на вертел на себя тысячу рублей. А ведь насчет крестьянских оброков или, что еще хуже, на совесть нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покрываешь душой того, чтоб же не достать на шаль или на разные роборны... А из чего? Чтобы не сказала какая нибудь подстрига Сидорова, что на почтмейстерские было платье лучше, а за нее и бух тысячу рублей...»

О разговоре со светским человеком:

«...Видишь потом, что даже разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек».

Если вычеркнуть из жизни Собакевича не совсем благочестивую историю с Чичиковым, то его смело можно было бы перенести во второй том «Мертвых Душ», как полезного для отечества и вполне морального человека. Сам Гоголь в «Размышлениях Автора» отставляет его: «Не разбирая мужиков, не допуская их быть пьяницами ни праздноташайками».

10. «Герои мои вовсе не злодеи — говорит Гоголь с «Мертвых душах», но пошлость всею глостью испугала читателей».

И Гоголь обещал «необходимую» вторую том, в котором покажет души светлые. Но второй том он сжег. Почему, написав, он сжег его? Потому, что «Не оживет, аще не умрет». Те воспитательные странички, которые уцелели, объясняют нам все лучше, чем сам автор. Первый том был художественно великолепен. Все фигуры созданы с талантом по истине потрясающим. Второй...

11. Первый раз прочла «Мертвые души» подростком и почувствовала то же, что вероятно чувствует и большинство читателей. Душно. Отдохнуть не на ком. Прочти теперь, прожив долгую жизнь, испытывая только художественный восторг перед-вошью этого гигантского таланта.

Иностранцы писатели тоже не шадят своих соотечественников. Как разделял Монассан своих французских мужиков и буржуев. Что пишет Франсуа Мориак о современном «Клубке гадюк». И почти все новые французские писа-

тели. Какую моральную мерзость, какое гнилое болото выворачивают они перет читателем и никто не осуждает их и награждают их премиями Гонкура.

Наша литература того времени была на исключительной высоте. Писатель должен был уметь. Вот так, как Гоголь учит в своей переписке. Но конечно в художественной, а не иррациональной с подлыми указательным пальцем. В первой части «Мертвых Душ» Гоголь не учит. Он людей не любит, а злобный глазок зорек. Его персонажи из второго тома уцелевшие, поистине мертвые души. Какые то деревянные куклы, проповедующие дешую мораль.

Между прочим Гоголь замечает: «Ввести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только пустую гордость и хвастовство. Это хвастовство губитель всего».

Но почему же тогда, не взя-

рая на это губительство, Гоголь всетаки твердо решил, как дело необходимо нужное, написать вторую часть «Мертвых Душ», где будут выведены именно светлые души, возбуждающие пустую гордость и хвастовство.

Поступок с его точки зрения, не хороший.

12. «Попрекнуть надо тех, которые в святые минуты небесного гнева и страдания поисковых держат предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликования», — учит Гоголь.

Советует поэту читать Библию, чтобы громить взяточников библиейскими словами.

— Что, неумятое рыло, ухватил с просителю трешницу? Ах ты! Дщерь Вавилона оканьяная. Блажен, кто возммет детей твоих и разобьет главу их о камень».

Вот так надо действовать на взяточника?

В то мирное время самым страшным жалением считалось

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ С ШАЛЯПИНЫМ

Глава из готовящейся к печати книги.

М. Кашук.

С самого прихода большевиков к власти на имя Ф. И. Шалаяпина не переставали подучать из Европы и Америки приглашения на гастроли, но каждый раз большевистские власти отказывали ему в разрешении на выезд за границу. Не помогло и заступничество Горького, который имел доступ непосредственно к Ленину. Ответ неизменно был один и тот же: «Еще рано нам отпускать этого человека». Шалаяпин терпеливо ждал. Была у него большая семья, все ценности в сейфах были конфискованы. Надо, было содержать большую семью. Ни кто из детей не был самостоятелен.

В 1920 году эстонское правительство обратилось к большевикам с просьбой отпустить Шалаяпина в Таллин (бывший Ревель) на концерт. Начались переговоры, переписка. В конце концов, Шалаяпин получил отпущник на неделю. Он взял с собою, в качестве аккомпаниатора пианиста Григория Яковсона, одну певцу из Мариинской Оперы в Петербурге для участия в концерте и своего тогдашнего неизменного спутника, Исаю Дворникова, в качестве управляющего и секретаря.

Весь о выезд Шалаяпина из России в Эстонию облетела весь мир. Во всех газетах мира на первой странице появились специальные телеграммы. Это спел в моей антрепризе ряд спектаклей в Москве, два летних сезона подряд. Зимой 1918-19 года я устроил абонементный сезон в Зиминском театре, пригласив, кроме Ф. И. из Петербурга, еще двух артистов Мариинской оперы, сопрано Коваленко и тенора Пятровского. Наряду с оперными спектаклями, я давал и в Доме Союзом (бывшем Дворниковом Собрании) и в Большом Зале Консерватории большие концерты, в которых кроме Ф. И. Шалаяпина, С. А. Кусевникова, А. В. Неждановой, Л. В. Собиннова участвовали все самые выдающиеся артисты того времени.

После того, как я, вследствие какой то, непонятной мне до сих пор, провокации, просидел дважды в МЧК и был потом судим и оправдан, я твердо решил начать хлопоты о разрешении мне выезда за границу. О своих планах я, конечно, рассказывал Ф. И., и он решил с своей стороны возобновить хлопоты об отъезде. Власть как будто стала склоняться в пользу Шалаяпина, говоря что какую то часть своего ограниченного заработка он будет уделять в пользу голодающих в то время в России крестьян. Разрешение на мой отъезд за границу должно было получиться отличным от Шалаяпина путем. Я мог выехать как польский гражданин, когда будут отправлять эшелон с беженцами из Польши, попавшими во время войны в Москву.

Выехали мы с Шалаяпиным в разное время и разными путями. Он уехал в Ригу, куда ему навстречу выехал из Лондона

вал, что в каждый свой приезд из Петербурга в Москву он за станал на своей квартире все новых людей, поселившихся у него и входивших в квартиру со своими ключами. По особому ходатайству, ему самому было разрешено занять для себя во время жриездов в Москву, одну комнату при уборной (Сам Ф. И. называл это место более простонародным словом...)

Ничего, следовательно удивительного не было в том, что перспектива уехать хотя бы на короткое время в Европу на гастроли подышать вольным воздухом, поводить старых друзей, одеться приличнее, чем он был одет тогда, когда ни материя, ни портных не стало, его увлекла. Он решился на смелый по тем временам шаг. Вызвал по прямому проводу «самого» Ленина и очень просил его увеличить срок его отпуска и разрешить ему ехать дальше из Эстонии. Ответ был от ридательный. Пришлось возвратиться в Петербург.

Выступления Шалаяпина про исходили в Петербурге, и в Москве. Московским спектаклями и концертами приходилось везать мне, Ф. И. отсылал ко мне всех, кто к нему непосредственно из Москвы обращался с предложениями. Не делал он исключения и для дирекции Большого Театра. В летнем сезоне 1918 года началось мое сотрудничество с Шалаяпиным. Он спел в моей антрепризе ряд спектаклей в Москве, два летних сезона подряд. Зимой 1918-19 года я устроил абонементный сезон в Зиминском театре, пригласив, кроме Ф. И. из Петербурга, еще двух артистов Мариинской оперы, сопрано Коваленко и тенора Пятровского. Наряду с оперными спектаклями, я давал и в Доме Союзом (бывшем Дворниковом Собрании) и в Большом Зале Консерватории большие концерты, в которых кроме Ф. И. Шалаяпина, С. А. Кусевникова, А. В. Неждановой, Л. В. Собиннова участвовали все самые выдающиеся артисты того времени.

После того, как я, вследствие какой то, непонятной мне до сих пор, провокации, просидел дважды в МЧК и был потом судим и оправдан, я твердо решил начать хлопоты о разрешении мне выезда за границу. О своих планах я, конечно, рассказывал Ф. И., и он решил с своей стороны возобновить хлопоты об отъезде. Власть как будто стала склоняться в пользу Шалаяпина, говоря что какую то часть своего ограниченного заработка он будет уделять в пользу голодающих в то время в России крестьян. Разрешение на мой отъезд за границу должно было получиться отличным от Шалаяпина путем. Я мог выехать как польский гражданин, когда будут отправлять эшелон с беженцами из Польши, попавшими во время войны в Москву.

Выехали мы с Шалаяпиным в разное время и разными путями. Он уехал в Ригу, куда ему навстречу выехал из Лондона

вал, что в каждый свой приезд из Петербурга в Москву он за станал на своей квартире все новых людей, поселившихся у него и входивших в квартиру со своими ключами. По особому ходатайству, ему самому было разрешено занять для себя во время жриездов в Москву, одну комнату при уборной (Сам Ф. И. называл это место более простонародным словом...)

Ничего, следовательно удивительного не было в том, что перспектива уехать хотя бы на короткое время в Европу на гастроли подышать вольным воздухом, поводить старых друзей, одеться приличнее, чем он был одет тогда, когда ни материя, ни портных не стало, его увлекла. Он решился на смелый по тем временам шаг. Вызвал по прямому проводу «самого» Ленина и очень просил его увеличить срок его отпуска и разрешить ему ехать дальше из Эстонии. Ответ был от ридательный. Пришлось возвратиться в Петербург.

Выступления Шалаяпина про исходили в Петербурге, и в Москве. Московским спектаклями и концертами приходилось везать мне, Ф. И. отсылал ко мне всех, кто к нему непосредственно из Москвы обращался с предложениями. Не делал он исключения и для дирекции Большого Театра. В летнем сезоне 1918 года началось мое сотрудничество с Шалаяпиным. Он спел в моей антрепризе ряд спектаклей в Москве, два летних сезона подряд. Зимой 1918-19 года я устроил абонементный сезон в Зиминском театре, пригласив, кроме Ф. И. из Петербурга, еще двух артистов Мариинской оперы, сопрано Коваленко и тенора Пятровского. Наряду с оперными спектаклями, я давал и в Доме Союзом (бывшем Дворниковом Собрании) и в Большом Зале Консерватории большие концерты, в которых кроме Ф. И. Шалаяпина, С. А. Кусевникова, А. В. Неждановой, Л. В. Собиннова участвовали все самые выдающиеся артисты того времени.

После того, как я, вследствие какой то, непонятной мне до сих пор, провокации, просидел дважды в МЧК и был потом судим и оправдан, я твердо решил начать хлопоты о разрешении мне выезда за границу. О своих планах я, конечно, рассказывал Ф. И., и он решил с своей стороны возобновить хлопоты об отъезде. Власть как будто стала склоняться в пользу Шалаяпина, говоря что какую то часть своего ограниченного заработка он будет уделять в пользу голодающих в то время в России крестьян. Разрешение на мой отъезд за границу должно было получиться отличным от Шалаяпина путем. Я мог выехать как польский гражданин, когда будут отправлять эшелон с беженцами из Польши, попавшими во время войны в Москву.

Выехали мы с Шалаяпиным в разное время и разными путями. Он уехал в Ригу, куда ему навстречу выехал из Лондона

вал, что в каждый свой приезд из Петербурга в Москву он за станал на своей квартире все новых людей, поселившихся у него и входивших в квартиру со своими ключами. По особому ходатайству, ему самому было разрешено занять для себя во время жриездов в Москву, одну комнату при уборной (Сам Ф. И. называл это место более простонародным словом...)

Ничего, следовательно удивительного не было в том, что перспектива уехать хотя бы на короткое время в Европу на гастроли подышать вольным воздухом, поводить старых друзей, одеться приличнее, чем он был одет тогда, когда ни материя, ни портных не стало, его увлекла. Он решился на смелый по тем временам шаг. Вызвал по прямому проводу «самого» Ленина и очень просил его увеличить срок его отпуска и разрешить ему ехать дальше из Эстонии. Ответ был от ридательный. Пришлось возвратиться в Петербург.

Выступления Шалаяпина про исходили в Петербурге, и в Москве. Московским спектаклями и концертами приходилось везать мне, Ф. И. отсылал ко мне всех, кто к нему непосредственно из Москвы обращался с предложениями. Не делал он исключения и для дирекции Большого Театра. В летнем сезоне 1918 года началось мое сотрудничество с Шалаяпиным. Он спел в моей антрепризе ряд спектаклей в Москве, два летних сезона подряд. Зимой 1918-19 года я устроил абонементный сезон в Зиминском театре, пригласив, кроме Ф. И. из Петербурга, еще двух артистов Мариинской оперы, сопрано Коваленко и тенора Пятровского. Наряду с оперными спектаклями, я давал и в Доме Союзом (бывшем Дворниковом Собрании) и в Большом Зале Консерватории большие концерты, в которых кроме Ф. И. Шалаяпина, С. А. Кусевникова, А. В. Неждановой, Л. В. Собиннова участвовали все самые выдающиеся артисты того времени.

После того, как я, вследствие какой то, непонятной мне до сих пор, провокации, просидел дважды в МЧК и был потом судим и оправдан, я твердо решил начать хлопоты о разрешении мне выезда за границу. О своих планах я, конечно, рассказывал Ф. И., и он решил с своей стороны возобновить хлопоты об отъезде. Власть как будто стала склоняться в пользу Шалаяпина, говоря что какую то часть своего ограниченного заработка он будет уделять в пользу голодающих в то время в России крестьян. Разрешение на мой отъезд за границу должно было получиться отличным от Шалаяпина путем. Я мог выехать как польский гражданин, когда будут отправлять эшелон с беженцами из Польши, попавшими во время войны в Москву.

Выехали мы с Шалаяпиным в разное время и разными путями. Он уехал в Ригу, куда ему навстречу выехал из Лондона

вал, что в каждый свой приезд из Петербурга в Москву он за станал на своей квартире все новых людей, поселившихся у него и входивших в квартиру со своими ключами. По особому ходатайству, ему самому было разрешено занять для себя во время жриездов в Москву, одну комнату при уборной (Сам Ф. И. называл это место более простонародным словом...)

Ничего, следовательно удивительного не было в том, что перспектива уехать хотя бы на короткое время в Европу на гастроли подышать вольным воздухом, поводить старых друзей, одеться приличнее, чем он был одет тогда, когда ни материя, ни портных не стало, его увлекла. Он решился на смелый по тем временам шаг. Вызвал по прямому проводу «самого» Ленина и очень просил его увеличить срок его отпуска и разрешить ему ехать дальше из Эстонии. Ответ был от ридательный. Пришлось возвратиться в Петербург.

Выступления Шалаяпина про исходили в Петербурге, и в Москве. Московским спектаклями и концертами приходилось везать мне, Ф. И. отсылал ко мне всех, кто к нему непосредственно из Москвы обращался с предложениями. Не делал он исключения и для дирекции Большого Театра. В летнем сезоне 1918 года началось мое сотрудничество с Шалаяпиным. Он спел в моей антрепризе ряд спектаклей в Москве, два летних сезона подряд. Зимой 1918-19 года я устроил абонементный сезон в Зиминском театре, пригласив, кроме Ф. И. из Петербурга, еще двух артистов Мариинской оперы, сопрано Коваленко и тенора Пятровского. Наряду с оперными спектаклями, я давал и в Доме Союзом (бывшем Дворниковом Собрании) и в Большом Зале Консерватории большие концерты, в которых кроме Ф. И. Шалаяпина, С. А. Кусевникова, А. В. Неждановой, Л. В. Собиннова участвовали все самые выдающиеся артисты того времени.

После того, как я, вследствие какой то, непонятной мне до сих пор, провокации, просидел дважды в МЧК и был потом судим и оправдан, я твердо решил начать хлопоты о разрешении мне выезда за границу. О своих планах я, конечно, рассказывал Ф. И., и он решил с своей стороны возобновить хлопоты об отъезде. Власть как будто стала склоняться в пользу Шалаяпина, говоря что какую то часть своего ограниченного заработка он будет уделять в пользу голодающих в то время в России крестьян. Разрешение на мой отъезд за границу должно было получиться отличным от Шалаяпина путем. Я мог выехать как польский гражданин, когда будут отправлять эшелон с беженцами из Польши, попавшими во время войны в Москву.

Выехали мы с Шалаяпиным в разное время и разными путями. Он уехал в Ригу, куда ему навстречу выехал из Лондона

вал, что в каждый свой приезд из Петербурга в Москву он за станал на своей квартире все новых людей, поселившихся у него и входивших в квартиру со своими ключами. По особому ходатайству, ему самому было разрешено занять для себя во время жриездов в Москву, одну комнату при уборной (Сам Ф. И. называл это место более простонародным словом...)

Ничего, следовательно удивительного не было в том, что перспектива уехать хотя бы на короткое время в Европу на гастроли подышать вольным воздухом, поводить старых друзей, одеться приличнее, чем он был одет тогда, когда ни материя, ни портных не стало, его увлекла. Он решился на смелый по тем временам шаг. Вызвал по прямому проводу «самого» Ленина и очень просил его увеличить срок его отпуска и разрешить ему ехать дальше из Эстонии. Ответ был от ридательный. Пришлось возвратиться в Петербург.

Выступления Шалаяпина про исходили в Петербурге, и в Москве. Московским спектаклями и концертами приходилось везать мне, Ф. И. отсылал ко мне всех, кто к нему непосредственно из Москвы обращался с предложениями. Не делал он исключения и для дирекции Большого Театра. В летнем сезоне 1918 года началось мое сотрудничество с Шалаяпиным. Он спел в моей антрепризе ряд спектаклей в Москве, два летних сезона подряд. Зимой 1918-19 года я устроил абонементный сезон в Зиминском театре, пригласив, кроме Ф. И. из Петербурга, еще двух артистов Мариинской оперы, сопрано Коваленко и тенора Пятровского. Наряду с оперными спектаклями, я давал и в Доме Союзом (бывшем Дворниковом Собрании) и в Большом Зале Консерватории большие концерты, в которых кроме Ф. И. Шалаяпина, С. А. Кусевникова, А. В. Неждановой, Л. В. Собиннова участвовали все самые выдающиеся артисты того времени.

После того, как я, вследствие какой то, непонятной мне до сих пор, провокации, просидел дважды в МЧК и был потом судим и оправдан, я твердо решил начать хлопоты о разрешении мне выезда за границу. О своих планах я, конечно, рассказывал Ф. И., и он решил с своей стороны возобновить хлопоты об отъезде. Власть как будто стала склоняться в пользу Шалаяпина, говоря что какую то часть своего ограниченного заработка он будет уделять в пользу голодающих в то время в России крестьян. Разрешение на мой отъезд за границу должно было получиться отличным от Шалаяпина путем. Я мог выехать как польский гражданин, когда будут отправлять эшелон с беженцами из Польши, попавшими во время войны в Москву.

Выехали мы с Шалаяпиным в разное время и разными путями. Он уехал в Ригу, куда ему навстречу выехал из Лондона

вал, что в каждый свой приезд из Петербурга в Москву он за станал на своей квартире все новых людей, поселившихся у него и входивших в квартиру со своими ключами. По особому ходатайству, ему самому было разрешено занять для себя во время жриездов в Москву, одну комнату при уборной (Сам Ф. И. называл это место более простонародным словом...)

Ничего, следовательно удивительного не было в том, что перспектива уехать хотя бы на короткое время в Европу на гастроли подышать вольным воздухом, поводить старых друзей, одеться приличнее, чем он был одет тогда, когда ни материя, ни портных не стало, его увлекла. Он решился на смелый по тем временам шаг. Вызвал по прямому проводу «самого» Ленина и очень просил его увеличить срок его отпуска и разрешить ему ехать дальше из Эстонии. Ответ был от ридательный. Пришлось возвратиться в Петербург.

Выступления Шалаяпина про исходили в Петербурге, и в Москве. Московским спектаклями и концертами приходилось везать мне, Ф. И. отсылал ко мне всех, кто к нему непосредственно из Москвы обращался с предложениями. Не делал он исключения и для дирекции Большого Театра. В летнем сезоне 1918 года началось мое сотрудничество с Шалаяпиным. Он спел в моей антрепризе ряд спектаклей в Москве, два летних сезона подряд. Зимой 1918-19 года я устроил абонементный сезон в Зиминском театре, пригласив, кроме Ф. И. из Петербурга, еще двух артистов Мариинской оперы, сопрано Коваленко и тенора Пятровского. Наряду с оперными спектаклями, я давал и в Доме Союзом (бывшем Дворниковом Собрании) и в Большом Зале Консерватории большие концерты, в которых кроме Ф. И. Шалаяпина, С. А. Кусевникова, А. В. Неждановой, Л. В. Собиннова участвовали все самые выдающиеся артисты того времени.

После того, как я, вследствие какой то, непонятной мне до сих пор, провокации, просидел дважды в МЧК и был потом судим и оправдан, я твердо решил начать хлопоты о разрешении мне выезда за границу. О своих планах я, конечно, рассказывал Ф. И., и он решил с своей стороны возобновить хлопоты об отъезде. Власть как будто стала склоняться в пользу Шалаяпина, говоря что какую то часть своего ограниченного заработка он будет уделять в пользу голодающих в то время в России крестьян. Разрешение на мой отъезд за границу должно было получиться отличным от Шалаяпина путем. Я мог выехать как польский гражданин, когда будут отправлять э